Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОРГАН
МЕЖДУНАРОДНОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
РЕВОЛЮЦИОННЫХ
ПИСАТЕЛЕЙ



№ 1
1935

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА—ЛЕНИНГРАД

ку, больше не толкает ее, кто знает, куда она делась,— ее здесь больше нет; но коляска продолжает ехать одна; ступенька, еще ступенька, и еще одна, шестая, десятая, пока, наконец, коляска не останавливается. А за ней — очень большой, очень медленный казацкий сапог.

Враги не теряли времени на море. Вызваны другие суда, большие, мощные. Они окружают «Орлова». На броненосце под красным флагом все готово к бою. Жерла его гигантских начищенных пушек, устанавливая прицел, поднимаются и опускаются, словно грозные сказочные звери; стрелки измерительных приборов беснуются. А вокруг подплывают стальные демоны уничтожения, могущественные, до последней мелочи снаряженные организмы. «Орлов» плывет им навстречу. Его ловят, окружают — все суда его калибра: шесть, восемь, десять чудовищ, подобных ему. Прорваться — надежды нет: орудия «Орлова» стреляют не дальше, чем орудия противника. Победить он не может,— он может только умереть, увлечь в своей гибели других. На экране и перед ним — бешеное, глухое напряжение от той страшной медленности, с какой гигантские суда смыкаются вокруг «Орлова».

Тогда обреченное судно начинает посылать сигналы. Маленькие, пестрые флажки поднимаются, опускаются, машут. «Орлов» сигнализирует: «Не стреляйте, братцы». «Орлов» медленно плывет к своим преследователям, продолжая сигнализировать: «Не стреляйте». Слышно, как люди перед экраном дышат, ожидание становится почти нестерпимым. «Не стреляйте», надеятся, жаждут, молят всеми силами своего сердца эти восемьсот человек в берлинском кино. Разве министр Кленк — кроткое, миролюбивое существо? Едва ли! Он ужасно бы смеялся, если бы его сочли таким. Он — человек грубый, несдержанный, воинственный, на чувствительность его не возьмешь. И все-таки, когда судно мятежников плывет навстречу заряженным дулам, чего ждет он?

Он тоже желает всеми буйными силами своего сердца: «Не стреляйте».

Безмерная радость вздымает сердца, когда кольцо преследующих пропускает «Орлова» и броненосец благополучно входит в нейтральную гавань.

Министр Кленк, в непромокаемом плаще и в фетровой шляпе на огромном черепе, выходит из тесной темноты кино на светлую, широкую улицу. Он испытывает непривычную растерянность. Что с ним? Разве он не отдал бы приказа стрелять по мятежникам? Как это возможно, чтобы такой человек, как он, желал «не стреляйте»? Значит, оно есть, его можно запретить. Но оно останется в мире, не имеет смысла прятать от него голову как страус.

В витрине он видит свое лицо, видит в нем впервые выражение беспомощности. Он похож на животное, попавшее в западню. Что же это такое? Его лицо словно вывихнуто. Он смущенно смеется. Подзывает экипаж, вытряхивает трубку, закуривает. и вот черты его уже снова вправлены в прежнее, грубое, довольное, с собой согласное лицо.

Джемс Джойс

Улисс

Перевод с английского И. РОМАНОВИЧА[1]

Роман Джемса Джойса «Улисс» написан в 1914—1921 гг. и издан впервые в 1922 году. Первыми своими эпизодами он непосредственно примыкает к более раннему роману Джойса «Портрет художника в юности» („A portrait of the artist as a young man»), — являющемуся как бы прологом к «Улиссу». Герой «Портрета — Стефен Дедалус (лицо автобиографическое, который выступает как главное действующее лицо в некоторых эпизодах «Улисса»). «Портрет художника в юности» охватывает детство и юность Стефена, до момента окончания им Дублинского университета. Перед этим Стефен несколько лет учился в закрытом иезуитском колледже Клонгаус-Вуд, возле Дублина. Мать Стефена, как это явствует из первого эпизода «Улисса», была ревностная католичка. Отец Стефена, Симон Дедалус, появляется в последующих эпизодах «Улисса». Крэнли, упоминаемый в тексте, — ближайший друг Стефена в университетские годы.

Между концом «Портрета» и началом «Улисса» проходит, повидимому, два-три года.

Место действия «Улисса» — Дублин; время действия — 16 июня 1904 года.

Несколько слов о заглавии романа.

«Улисс» — своего рода современная «Одиссея». Известно, что первоначально (в рукописи) отдельные эпизоды «Улисса» носили имена соответствующих эпизодов гомеровской поэмы. Так, первые три эпизода были озаглавлены: «Телемак», «Нестор» и «Прометей». Напомним, что в «Одиссее» главные действующим лицом первых трех песен является сын Улисса», Телемак, а сам Улисс появляется только с четвертой песни. Критики-«джойсоведы» (Валери Ларбо, Стуарт Гильберт) считают Стефена Дедалуса аналогом Телемака, а Леопольда Блума, главного героя «Улисса», появляющегося также только с четвертого эпизода, аналогом Улисса.

[1]) По заданию Первого переводческого коллектива ССП.

Величаво, пухлый Бак Маллиган вышел на верхнюю площадку лестницы, неся чашку с мыльной пеной, на которой крест накрест лежали зеркало и бритва. Желтый халат, неподпоясанный, слегка вздувался позади него от слабого утреннего ветра. Он поднял чашку и возгласил:

— Introibo ad altare Dei.[1]

Остановившись, он взглянул вниз на темную винтовую лестницу и грубо крикнул:

— Иди сюда, Кинч. Иди сюда, подлый иезуит.

Торжественно прошел он вперед и поднялся на круглую площадку. Повернувшись, он с серьезным видом трижды благословил башню, окрестный берег и пробуждающиеся горы. Потом, увидев Стефена Дедалуса, он наклонился к нему и принялся быстро крестить воздух, издавая горлом булькающий звук и тряся головой. Стефан Дедалус, недовольный и сонный, облокотился на перила лестницы и равнодушно глядел на благословлявшую его трясущуюся булькающую голову, длинную, как у лошади, без тонзуры, с волосами цвета бледного дуба.

Бак Маллиган заглянул под зеркало и снова быстро закрыл чашку.

— Назад, — твердо сказал он.

И тоном священнослужителя добавил:

— Ибо здесь, о возлюбленные братья, таинство евхаристины — тело и душа, кровь и плоть. Будьте любезны, хорал! Закройте глаза, милостивые государи. Одну минутку. Небольшая заминка с этими беленькими молекулами. Просьба соблюдать тишину.

Он посмотрел вверх, издал низкий, долгий призывный свист и затих в напряженном молчании. Золотые коронки поблескивали на его ровных белых зубах. Златоуст. Ему в ответ дважды просвистели, громко и пронзительно.

— Благодарю вас, — весело закричал он. — Совершенно достаточно. Выключите ток.

[1] Войду в алтарь господень.

Он спрыгнул с площадки и серьезно взглянул на наблюдавшего за ним друга, подбирая развевавшиеся складки своего халата. Пухлое затененное лицо и тяжелый овальный подбородок — облик средневекового прелата, покровителя искусств. Довольная улыбка показалась на его губах.

— Ирония судьбы, — сказал он весело, — что у тебя такое нелепое имя. Древний грек!

Дружески-насмешливо он погрозил пальцем Стефену и, посмеиваясь про себя, подошел к парапету. Стефен Дедалус устало последовал за ним и сел на краю площадки, наблюдая, как он прислонял зеркало к парапету, окунал кисточку в чашку и намыливал себе щеки и шею.

Веселый голос Бака Маллигана продолжал:

— У меня тоже нелепое имя: Малаки Маллиган, два дактиля. Но звучит совсем как эллинское, правда? Легкое и солнечное, как олень. Нам обязательно нужно с'ездить в Афины. Ты поедешь, если мне удастся выудить у тетушки двадцать фунтов?

Он отложил кисть, и, восторженно смеясь, закричал:

— Поедешь, ты, худосочный иезуит!

Замолчав, он принялся старательно бриться.

— Слушай, Маллиган, — спокойно сказал Стефен.

— Что скажешь, детка?

— Долго будет Гэйнс жить в башне?

Бак Маллиган повернулся к нему правой, бритой щекой.

— Господи, вот жуткий суб'ект! — сказал он откровенно. — Надутый англосакс. Он не считает тебя джентльменом. Стервецы все эти британцы. Так и прут из него деньги и непереваренная пища. Потому что он, видите ли, из Оскфорда. А по-моему, Дедалус, у тебя настоящие оксфордские манеры. Где ему понять тебя. Я лучше всех тебя прозвал: Кинч — лезвие бритвы.

Он осторожно брил подбородок.

— Всю ночь он бредил черной пантерой, — сказал Стефен. — Где у него ружье?

— Жалкий лунатик, — сказал Маллиган. — А ты что, сдрейфил?

— Еще бы, — Стефен говорил серьезно, с возрастающим страхом. — В темной комнате с человеком, которого я не знаю и который стонет и бредит, что он должен застрелить черную пантеру. Ты спасал утопающих. А я не герой. Если он останется, я перееду.

Бак Маллиган, нахмурясь, посмотрел на лезвие бритвы. Он соскочил со своего насеста и принялся обшаривать карманы.

— Что за чорт, — хрипло сказал он.

Он подошел к площадке и, сунув руку в карман Стефена, сказал:

— Разрешите воспользоваться вашей утиркой.

Стефен дал ему вытащить за кончик грязный измятый носовой платок. Бак Маллиган аккуратно вытер лезвие. Потом, разглядывая платок, он сказал:

— Утирка барда. Новый изысканный цвет для наших ирландских поэтов: сопливо-зеленый. Почти чувствуешь это на вкус.

Он снова забрался на парапет и посмотрел на дублинскую бухту. Его светлые волосы цвета бледного дуба слегка развевались.

— Да, — медленно произнес он, — Олджи был прав, когда назвал море: серая нежная мать. Сопливо-зеленое море. Epi oinopa ponton[1]. Ах, Дедалус, если бы ты знал греков! Я тебя обязательно выучу. Ты должен прочесть их в подлиннике. Thalatta! Thalatta![2] Наша великая нежная мать. Взгляни.

Стефен встал и подошел к парапету. Облокотившись, он посмотрел вниз, на воду и на почтовый пароход, выходящий из гавани.

— Наша могучая мать, — сказал Бак Маллиган.

Он быстро перевел взгляд своих больших пытливых глаз на лицо Стефена.

— Тетушка считает, что ты убил свою мать, — сказал он. — Поэтому она не позволяет мне иметь с тобой дело.

— Да, ее убили, — мрачно сказал Стефен.

— Чорт возьми, Кинч, неужели ты не мог стать на колени, когда умирающая

[1] По темному морю.
[2] Thalatta — море (по гречески).

мать просила тебя, — сказал Бак Маллиган. — Я такой же гипербореец, как ты. Но когда подумаешь о матери, и о последней просьбе ее встать на колени и помолиться за нее. А ты отказался. Есть в тебе что-то недоброе, Кинч.

Он замолчал и еще раз провел кистью по левой щеке. Снисходительная улыбка показалась на его губах.

— И все-таки чудный ты малый, Кинч, — пробормотал он про себя. — Самый чудный малый на свете.

Он брился сосредоточенно, размеренными движениями, в полном молчании.

Стефен, облокотившись на выщербленный гранит, приложил ладонь ко лбу и смотрел на потрепанный край своего черного лоснящегося рукава. Боль, которая не была еще болью любви, щемила ему сердце. Молчаливо во сне приходила она к нему после смерти. Изнуренное тело ее в слишком широком темном саване издавало запах воска и розового дерева, дыхание ее, склонившейся над ним с немым укором, — еле слышный запах сырого пепла. Сквозь бахрому рукава он видел море, которое сытый голос рядом с ним называл великой и нежной матерью. Кольцо бухты и горизонта заключало тускло-зеленую массу жидкости. Белая фарфоровая чашка, стоявшая у ее смертного одра, заключала зеленую слизистую желчь, оторванную от ее гниющей печени тяжелыми, громкими приступами рвоты.

Бак Маллиган снова вытер бритву.

— Бедный песик, — сказал он ласково, — придется подарить тебе рубашку и несколько платков. А как ты чувствуешь себя в подержанных штанах?

— Прекрасно, — ответил Стефен.

Бак Маллиган перешел к ямочке под нижней губой.

— Все несчастье в том, — сказал он довольным тоном, — что никогда не знаешь, кто носил их до тебя. У меня есть очень недурная пара: серые, в полоску. Ты будешь шикарно выглядеть в них. Кроме шуток. Кинч. У тебя очень элегантный вид, когда ты оденешься.

— Спасибо, — сказал Стефан. — Я не смогу носить их, если они серые.

— Он не сможет носить их, — обратился Маллиган к своему отражению в зеркале. — Этикет есть этикет. Он убил свою мать, но он не может носить серые брюки.

Он аккуратно сложил бритву и кончиками пальцев потрогал гладко выбритую кожу. Стефен перевел взгляд с моря на пухлое лицо и подвижные дымчато-голубые глаза.

— Тот суб'ект, с которым я был вчера вечером в «Корабле», — сказал Бак Маллиган, — говорит, что у тебя Прогрессивный паралич. Он работает в Доттивилле с Конолли Норманом.

Он взял зеркало и взмахнул им в воздухе, ловя отражение солнца, сиявшего над морем. Его изогнутые выбритые губы смеялись и кончики его белых сверкающих зубов. Смех сотрясал все его сильное, крепко сшитое туловище.

— Посмотри на себя, — сказал он, — ты, ужасающий бард.

Стефен нагнулся и посмотрел в протянутое ему зеркало с извилистой трещиной посреди, из которой торчал застрявший волос. Каким видит меня он и все остальные? Кто выбрал мне это лицо? Это жалкое собачье тело, кишащее паразитами. Оно тоже меня спрашивает.

— Я свистнул его у прислуги, — сказал Бак Маллиган. — Это как раз для нее. Тетушка всегда нанимает безобразных служанок ради Малаки. Чтоб не ввести его во искушение. А зовут ее Урсула.

Снова засмеявшись, он отвел зеркало от близоруких глаз Стефена.

— Ярость Калибана, который не видит своего лица в зеркале, — сказал он. — Если б Уайльд мог тебя видеть.

Откинувшись назад, Стефен показал пальцем:

— Это символ ирландского искусства, — сказал он с горечью. — Разбитое зеркало служанки.

Бак Маллиган неожиданно взял Стефена под руку и стал прохаживаться с ним вокруг башни, побрякивая засунутыми в карман бритвой и зеркалом.

— Нехорошо дразнить тебя, Кинч, ведь правда? — ласково сказал он. — Один бог знает, насколько ты умнее всех их.

Удар отражен. У него такой же страх перед ланцетом моего искусства, как у меня — перед его ланцетом. Холодное стальное перо.

— Разбитое зеркало служанки. Скажи это нашему быкоподобному приятелю и получи с него гинею. Он пухнет от денег, и он не считает тебя джентльменом. Его родитель набил себе карманы, продавая зулусам слабительное или еще какую-то гадость. Господи, Кинч, если б мы стали работать вместе, как много сделали бы мы для нашего острова! Эллинизировали бы его.

Рука Крэнли. Его рука.

— И подумать только, что тебе приходится клянчить у этих скотов. Никто, кроме меня, не знает, какой ты. Почему ты не доверяешь мне? Что ты от меня нос воротишь? Из-за Гэйнса, что ли? Если он мешает тебе, я приведу Сеймура, и мы зададим ему такую баню, какая не снилась и Клайву Кемпсорпу.

Громкие денежные голоса в квартире Клайва Кемпсорпа. Бледнолицые: держатся за бока от хохота, хватаются друг за друга. Ох, не могу! Скажите ей об этом осторожно, Обри! Умереть можно! Разодранные клочья его рубашки развеваются по воздуху, а он, со спущенными до пяток штанами, спотыкаясь, скачет вокруг стола, спасаясь от Эдса из колледжа Магдалины, вооруженного портновскими ножницами. Испуганное телячье лицо, перепачканное мармеладом. Я не хочу, чтобы меня холостили! Зачем вы издеваетесь надо мной!

Крики из открытого окна вспугивают вечер. Глухой старик в переднике, с лицом как маска Мэттью Арнольда, стрижет газон на темной лужайке и следит, как разлетаются тонкие стебельки трав.

Для нас самих... новое язычество... омфалос...[1].

— Пускай остается, — сказал Стефен. — Он ничего, только спать не дает.

— Тогда что же? — нетерпеливо спросил Бак Маллиган. — Выкладывай. Я всегда откровенен с тобой. За что ты на меня злишься?

---

[1] Средоточие.

Они остановились, глядя в сторон тупой вершины Брэй Хэд, которая вы ступала над водой, как морда спящег кита. Стефен тихонько высвободи свою руку.

— Ты хочешь, чтобы я сказал? спросил он.

— Да, в чем дело? — ответил Б Маллиган. — Я не помню ничего т кого.

Он смотрел Стефену в лицо. Слаб ветер пробежал по его лбу, слегка ра вевая его светлые растрепанные волос и зажигая серебряные точки беспоко ства в его глазах.

Стефен, подавленный звуком со ственного голоса, сказал:

— Помнишь, когда я пришел к ва в первый раз после смерти матери?

Бак Маллиган сразу нахмурился сказал:

— Что? Когда? Ничего не помню, запоминаю только мысли и ощущени А что такое? Что тогда случилось?

— Ты готовил чай, — сказал Ст фен, — а я вышел на площадку лес ницы за кипятком. Из гостиной выш твоя мать с кем-то из гостей. Она спр сила, кто у тебя.

— Да? — сказал Бак Маллиган. Ну и что же я сказал? Не помню.

— Ты сказал, — ответил Стефен: «о, это всего только Дедалус, у кот рого подохла мать».

Краска выступила на лице Бака Ма лигана, делая его моложе и привле тельней.

— Я так сказал? — спросил он. Ну, и что же? Что тут особенного?

Порывисто он стряхнул с себя ловкость.

— А что такое смерть, — спрос он, — смерть твоей матери, или тво или моя собственная? Ты видел то ко, как умирала твоя мать. А я ви каждый день, как люди окачуриваются у Богоматери и в Ричмонде[1], и как потрошат в анатомичке. Падаль, бо ше ничего. Какое это имеет значени Ты не захотел встать на колени и молиться за умирающую мать, ко она тебя просила. Почему? Потому что в тебе сидит эта проклятая иезу

---

[1] Дублинские больницы.

ская закваска, только не туда ее положили, куда следует. А по-моему все это чепуха. Ее мозговые извилины не функционируют. Она называет доктора сэром Питером Тизлом и срывает лютики с одеяла. Угождай ей, пока не кончится все. Ты не исполнил ее предсмертного желания и ты же дуешься на меня за то, что я не скулю, как наемный плакальщик от Лалуэтта? Какая дикость! Может быть, я и сказал это. Я вовсе не хотел оскорбить память твоей матери.

По мере того, как он говорил, к нему возвращалась уверенность. Стефен, пряча незажившие раны, нанесенные его сердцу словами Маллигана, сказал очень холодно:

— Я не говорю, что ты оскорбил мою мать.

— А кого же? — спросил Бак Маллиган.

— Ты оскорбил меня, — сказал Стефен.

Бак Маллиган повернулся на каблуках.

— Ну и человек! — воскликнул он.

Он быстро зашагал вдоль парапета. Стефен стоял на своем месте, глядя на горы за спокойной бухтой. Дымка заволакивала море и горы. Кровь пульсировала в глазах, мешая ему видеть, и он чувствовал, как горят его щеки.

Из башни раздался громкий голос:

— Вы здесь, Маллиган?

— Сейчас иду, — ответил Бак Маллиган.

Он повернулся к Стефену и сказал:

— Посмотри на море? Какое ему дело до оскорблений? Заткни глотку Лойоле, Кинч, и пойдем вниз. Господин англичанин требует свой утренний завтрак.

Его голова задержалась на мгновение на уровне крыши:

— Брось вздыхать над этим, — сказал он. — Может быть, я и не прав. Встряхнись и не дуйся.

Голова исчезла, но в пролете загудел его удаляющийся голос:

Не смей смотреть назад, вздыхая
Над горькой тайною любви:
Ведь Фергус правит колесницей.

Тени лесов безмолвно проплывали мимо в утренней тишине, от площадки лестницы по направлению к морю, куда он смотрел. Около берега и дальше водное зеркало побелело, запятнанное легкими поспешными шагами. Белая грудь смутного моря. Двойных созвучий легкий ритм. Рука перебирает струны арфы, извлекает из них двойные созвучия. Белые, как волны, слова, сплетенные по два, колышутся в смутном прибое.

Облако медленно надвигается на солнце, и от тени темнеет зелень залива. Залив лежит позади — чаша горьких вод. Песня Фергуса: я пел ее у нас дома, перебирая длинные темные струны. Ее дверь была открыта: она хотела слушать мое пенье. Безмолвный от благоговения и жалости, я подошел к ее постели. Она плакала на своем жалком ложе. От этих слов, Стефен: горькая тайна любви.

А теперь где?

Ее сувениры: старые веера из перьев, carnets de bal[1] с кисточками, надушенные мускусом, янтарные четки, хранимые в ящике. Клетка, висевшая в солнечном окне ее дома, когда она была девушкой. Она слышала старика Ройса в феерии «Страшный турка» и смеялась вместе с другими, когда он пел:

Когда хочу,
Всегда могу
Стать невидимкой я!

Призрак веселья, исчезнувшего навсегда, надушенного мускусом.

Не смей смотреть назад, вздыхая.

Хранимая в памяти природы вместе с ее игрушками. Воспоминания осаждали его сумрачный мозг. Стакан воды из-под кухонного крана, когда она причащалась. Яблоко с вырезанной сердцевиной, наполненное сахарным песком, которое пеклось для нее в камине темным осенним вечером. Ее изящные ногти, покрасневшие от крови насекомых, которых она давила на рубашках своих детей.

Молчаливо во сне приходила она к нему, изнуренное тело ее в слишком широком саване издавало запах воска и розового дерева, дыхание ее, склонившейся над ним с немыми тайными словами, — еле слышный запах сырого пепла.

---

[1] Карточки на которых барышни записывали обещанные танцы.

Ее остекляневшие глаза смотрели из смерти: потрясти мою душу, заставить ее покориться. На меня одного. Призрак свечи освещает ее агонию. Призрачный свет на искаженном лице. Ее громкое хриплое дыхание прерывается от ужаса, а в это время все молятся, стоя на коленях. Ее взгляд на мне: сломить меня. Liliate rutilantium te confessorum turma circumdet: iubilantium te virginum chorus excipiat! [1]

Упырь! Пища твоя — трупы!

Нет, мама. Оставь меня и дай мне жить.

— Эй, Кинч!

Голос Бака Маллигана пел внутри башни. Голос приближался, подымаясь по лестнице, и позвал снова. Стефен, все еще сотрясаясь от рыданий своей души, слышал горячие потоки солнечного света и в воздухе позади себя дружеские слова.

— Дедалус, будь паинькой, ступай вниз. Завтрак готов. Гейнс извиняется, что разбудил нас ночью. Все в порядке.

— Иду, — сказал Стефен, поворачиваясь.

— Иди, ради Христа, — сказал Бак Маллиган. — Ради меня и ради нас всех. — Его голова скрылась и показалась снова.

— Я рассказал ему о твоем символе ирландского искусства. Говорит — очень остроумно. Займи у него один фунт, ладно? Я хочу сказать, гинею.

— Я сегодня получу жалованье, — сказал Стефен.

— В школе? — сказал Бак Маллиган. — Сколько? Четыре фунта? Дай нам взаймы фунт.

— Пожалуйста, — ответил Стефен.

— Четыре блестящих соверена, — в восторге закричал Бак Маллиган. — Да мы так напьемся, как и друидским друидам не снилось. Четыре всемогущих соверена!

Он взмахнул руками и, топая вниз по каменным ступеням, запел, фальшиво, с акцентом настоящего кокней:

Мы будем весело плясать,
Вино и пиво распивать
В день коронации,
В день коронации!
Мы будем весело плясать
В день коронации!

[1] Да окружит тебя лилейная толпа сияющих исповедников; да примет тебя хор ликующих дев.

Теплый солнечный свет, весело пля[шущий] над морем. Никелированна[я] чашка для бритья блестит, забытая на парапете. Почему я должен нести ее вниз? Может быть, оставить ее здесь забытую дружбу?

Он подошел к ней и взял ее в руки, ощущая ее холод, вдыхая запах клейкой, застывшей пены, из которой торчала кисть. Так носил я кадило в Клонгаусе. Теперь я другой, но я все тот же. И тоже служка. Прислужник служки.

В темной сводчатой комнате одетая в халат фигура Бака Маллигана быстро двигалась взад и вперед у камина, то заслоняя, то открывая его желтое пламя. Два столба мягкого дневного света падали на черепичный пол из высоких слуховых окон, и там где они пересекались медленно свивались клубы дыма и чада от жареного сала.

— Задохнуться можно, — сказал Бак Маллиган. — Откройте-ка дверь, Гэйнс, пожалуйста.

Стефен поставил чашку для бритья на буфет. Высокая фигура поднялась с койки, подошла к порогу и распахнула дверь на лестницу.

— У вас ключ? — спросил голос.

— Он у Дедалуса, — ответил Бак Маллиган. — Чорт возьми, дышать [нечем]...

Он заорал, не подымая голову от камина:

— Кинч!

— Он в замке, — сказал Стефен, подошел ближе.

Дважды проскрежетал крюч, и когда была распахнута тяжелая дверь, в комнату ворвался желанный свет и свежий воздух. Гэйнс стоял на пороге и смотрел наружу. Стефен подтянул свой чемодан к столу и сел в ожидании. Бак Маллиган переложил яичницу на сто[яв]шее около него блюдо. Потом он [отнес] блюдо и большой чайник, с размаху поставил их на стол и облегченно вздохнул:

— Я таю, как сказала свечка, когда... Но стоп. Ни слова больше об этом. Проснись, Кинч. Хлеб, масло, мед. Идите сюда, Гэйнс. Жратва готова. Бла-

слови нас, господи, и дары твои. Где сахар? Ах, чорт, у нас нет молока.

Стефен достал из буфета каравай хлеба, горшок с медом и масленку. Бак Маллиган, вдруг обозлившись, сел к столу.

— Что за беспорядок! — сказал он.— Я сказал ей притти в начале девятого.

— Будем пить без молока, — предложил Стефен. — В буфете есть лимон.

— Убирайся ты со своими парижскими фокусами. — Я хочу деревенского молока.

Гэйнс вернулся с порога и сказал спокойно:

— Молочница идет.

— Да благословит вас бог, — воскликнул Бак Маллиган, вскакивая со стула. — Садитесь. Наливайте чай. Сахар здесь, в мешке. Хватит, довольно я повозился с яичницей. — Он раскромсал яичницу на три части и переложил ее на тарелки со словами:

— Во имя отца и сына и святого духа.

Гэйнс сел разливать чай.

—Я кладу всем по два куска, — сказал он. — Ну и крепкий же у вас чай, Маллиган!

Бак Маллиган, отрезая толстые ломти от каравая, сказал тоненьким старушечьим голоском:

— Когда я делаю чай, я делаю чай, как сказала матушка Гроган. А когда я делаю воду, я делаю воду.

— Надеюсь, это все-таки чай, — сказал Гэйнс.

Бак Маллиган продолжал резать хлеб и причитать:

— «Я тоже, м-с Кэхилл», говорит она. «Только, — говорит м-с Кэхилл, — избави вас бог делать их в одном горшке».

Он протянул каждому из своих сотрапезников по толстому ломтю хлеба на кончике ножа.

— Это фольклор, — очень серьезно сказал он, — для вашей книги, Гэйнс. Пять строчек текста и десять страниц комментариев о фольклоре и рыбьих богах Дандрума. Подписано к печати вещими сестрами такого-то числа тридевятого года.

Он повернулся к Стефену и спросил тоненьким озабоченным голосом, высоко поднимая брови:

— Вы не помните, брат, мне кажется, горшок матушки Гроган упоминается в Мабиногионе, или, может быть в Упанишадах?

— Сомневаюсь, — серьезно сказал Стефен.

— Ах, вот как? — продолжал Бак Маллиган. — Изложите пожалуйста ваши соображения.

— Боюсь, — сказал Стефен, не прерывая еды — что он не упоминается ни в Мабиногионе, ни вне их, Матушка Гроган была повидимому родственница Мэри-Анны.

Бак Маллиган восхищенно улыбнулся.

— Чудесно, — сказал он приторным голосом, показывая свои белые зубы и удовлетворенно щуря глаза. — Вы так думаете? Чудесно.

Потом, неожиданно сделав свирепое лицо, он принялся ожесточенно резать хлеб и зарычал хриплым, неприятным голосом:

А на старую мать
Ей теперь наплевать,
И, задирая свою юбку...

На пороге, заслоняя свет, появилась фигура.

— Молоко, сэр.

— Войдите, мэм, — сказал Маллиган. — Кинч, достань кувшин.

Старуха вошла в комнату и остановилась около Стефена.

— Хорошая сегодня погода, сэр, — сказала она. — Благодарение господу.

— Кому? — сказал Бак Маллиган, взглянув на нее. — Ах да, конечно.

Стефен перегнулся назад и достал с буфета кувшин.

— Островитяне, — сказал Маллиган в виде пояснения Гэйнсу, — нередко упоминают имя сборщика обрезков от обрезания.

— Сколько вам, сэр? — спросила старуха.

— Кварту, — ответил Стефен.

Он наблюдал, как она переливала в кружку, а оттуда в кувшин, густое белое молоко, не свое. Старые сморщенные сиськи. Она налила еще кружку и еще немного. Старая и таинственная, вошла она из утреннего мира, может

быть, вестница. Наливая молоко, она расхваливала его. На корточках возле терпеливой коровы, ранним утром, среди сочного луга — ведьма на своем мухоморе, — проворно выдаивая скрюченными пальцами ее вымя. Они мычали, узнавая ее, шелковистые от росы коровы. Шелковая коровница и бедная старуха — так звали ее в старые времена. Бездомная странница, неизменная форма бессмертной сущности, она служила тому, кто ее покорил, и тому, кто беззаботно предал ее, их общая наложница, вестница таинственного утра. Служить или обвинять — он не знал, но просить ее милости он не хотел.

— А молоко в самом деле хорошее, мэм, — сказал Бак Маллиган, наливая молоко в чашки.

— Попробуйте, сэр, — сказала она.

Он сделал по ее совету.

— Если бы мы всегда могли есть такую здоровую пищу, — сказал он ей громко, — меньше было бы гнилых зубов и гнилых кишок. Живем вот в смрадном болоте, питаемся всякой дешевой дрянью и ходим по улицам, вымощенным пылью, навозом и плевками чахоточных.

— Вы студент-медик, сэр? — спросила старуха.

— Вот именно, мэм, — ответил Бак Маллиган.

Стефен слушал в презрительном молчании. Она склоняет свою старую голову перед голосом, который говорит с ней громко, перед своим костоправом, своим лекарем: мною она пренебрегает. Перед голосом, который отпустит ей грехи и помажет миром всю ее, кроме ее нечистого лона, всю ее, сотворенную из плоти мужчины не по образу и подобию божьему, добычу змия. И перед громким голосом, который заставил ее замолчать и смотреть удивленными неуверенными глазами.

— Вы понимаете, что он говорит? — спросил ее Стефен.

— Это по-французски, сэр? — обратилась старуха к Гэйнсу.

Гэйнс, не смущаясь, ответил ей длинной речью.

— Это по-ирландски, — сказал Бак Маллиган. — Вы говорите по-гэльски?

— Я так и подумала, что это по-ирландски, — сказала она, — можно узнать по звуку. Вы что, с Запад сэр?

— Я англичанин, — ответил Гэйнс.

— Он англичанин, — сказал Б Маллиган, — и он считает, что в И ландии мы должны говорить по-и ландски.

— Конечно, должны, — сказала ст руха, — и мне стыдно, что я не зна языка. Говорят, это хороший язык.

— Мало сказать хороший, — сказ Бак Маллиган, — просто замечател ный язык. Налей-ка еще чаю, Кинч. Н угодно ли чашечку, мэм?

— Нет, благодарю вас, сэр, — отв тила старуха, вешая бидон на руку готовясь уходить.

Гэйнс сказал ей:

— Счет у вас с собой? Давайте з платим ей сегодня, Маллиган, как п вашему?

Стефен снова наполнил три чашки.

— Счет, сэр? — сказала она, ост навливаясь. — Что ж: семь дней пинте по два пенса будет семью д шиллинг и два пенса, и эти три дня кварте по четыре пенса будет три ква ты шиллинг да еще шиллинг и д пенса будет два шиллилнга и два пен сэр.

Бак Маллиган вздохнул и, засунув рот корку, густо намазанную с обе сторон маслом, вытянул ноги и пр нялся обшаривать карманы своих бр

— Платите и и не плачьтесь, — у баясь, сказал ему Гэйнс.

Стефен налил себе третью чашку, окрасив ложкой чая густое белое локо. Бак Маллиган вынул серебря флорин, повертел его между пальца и воскликнул:

— Чудо!

Он подвинул монету через стол к рухе, говоря:

— Больше меня не проси, доро Все что могу, я отдам.

Стефен положил монету в ее неж ную руку.

— За нами два пенса, — сказал

— Успеется, сэр, — сказала она, ря монету. — Успеется. До свида сэр.

Она присела и вышла, провожае нежной декламацией Бака Маллига

Если б имел все сокровища мира,
К милым сложил бы ногам.

Он повернулся к Стефену и сказал:

— Серьезно, Дедалус. Я разорился конец. Отправляйся-ка поскорей в вое педагогическое заведенье и принеси нам оттуда денег. Нынче барды должны напиться в пух и в мумию. Ирландия ждет, что сегодня каждый исполнит свой долг.

— Хорошо, что вы напомнили мне, — сказал Гэйнс, вставая. — Сегодня мне нужно побывать в вашей национальной библиотеке.

— Сначала искупаемся, — сказал Бак Маллиган.

Повернувшись к Стефену, он сказал ему ласково:

— Скажи, Кинч, прошел уже месяц с тех пор, как ты мылся?

И, обращаясь к Гэйнсу:

— Нечистый бард принципиально омывает свое тело только раз в месяц.

— Вся Ирландия омывается Гольфштремом, — сказал Стефен, наливая струйкой мед на ломоть хлеба.

Из угла, где он повязывал шарф поверх открытого ворота своей теннисной рубашки, Гэйнс сказал:

— Я собираюсь коллекционировать ваши изречения — если вы не возражаете.

Это он мне. Моются, купаются, оттирают грязь. Скверна души. Совесть. Но пятна им не смыть.

— Например это, о разбитом зеркале служанки как символе ирландского искусства: чертовски хорошо.

Бак Маллиган толкнул Стефена ногой под столом и сказал с жаром:

— Вы бы послушали, Гэйнс, что он говорит о Гамлете!

— Я говорю совершенно серьезно, — сказал Гэйнс, все еще обращаясь к Стефену. — Я как раз думал об этом, когда пришла эта старушонка.

— А заработаю я на этом? — спросил Стефен.

Гэйнс рассмеялся и, снимая с крюка своей койки серую фетровую шляпу, сказал:

— Право, не знаю.

Он направился к выходу. Бак Маллиган нагнулся к Стефену и сказал ему энергично и грубо:

— Чего ты валяешь дурака? Ну зачем ты ему это сказал?

— А что? — сказал Стефен. — Задача в том, чтобы достать денег. У кого? У него или у молочницы. Чет или нечет.

— Я расхваливаю ему тебя до небес, — сказал Бак Маллиган, — а ты тут суешься со своими улыбочками и иезуитскими вывертами.

— Я не очень надеюсь, — сказал Стефен, — ни на него, ни на нее.

Бак Маллиган трагически вздохнул и положил руку Стефену на плечо.

— Надейся на меня, Кинч.

Потом, совсем другим тоном, он добавил:

— Откровенно говоря, может быть, ты и прав. Ну их всех к чортовой матери, если ни на что другое они не годятся. Почему ты не разыгрываешь их, как я? А, чорт с ними! Однако пора двигаться.

Он встал из-за стола, торжественно развязал пояс и снял халат, говоря покорным тоном:

— Маллиган разоблачается.

Он выложил содержимое своих карманов на стол.

— Вот тебе твоя утирка, — сказал он.

Надевая крахмальный воротничок и непокорный галстук, он разговаривал с ними, ругая их, и со своей длинной цепочкой от часов. Он призывал чистый носовой платок, и его руки обшаривали чемодан. Скверна души. Нам просто необходимо одеться по роли. Я хочу плюсовые перчатки и зеленые сапоги. Противоречие. Разве я противоречу себе? Ну что ж, пускай, я противоречу себе. Меркурий Малахи. Мягкий черный предмет вылетал из его говорящих рук.

— А вот и твоя парижская шляпа — сказал он.

Стефен подхватил ее и надел. Гэйнс позвал с порога:

— Ну как, идем?

— Я готов, — ответил Бак Маллиган, направляясь к двери. — Идем, Кинч. Надеюсь, ты уже доел все, что осталось. — Покорно он вышел торжественной походкой, скорбно говоря:

— И на пути своем он встретил Баттерли.

Стефен взял свою трость, последовал за ними, и, пока они сходили по лестнице, закрыл дверь и запер ее на замок. Огромный ключ он положил во внутренний карман.

Когда они спустились, Бак Маллиган спросил:

— Ключ ты с собой взял?

— Он у меня, — ответил Стефен.

Он пошел вперед. Он слышал, как позади него Бак Маллиган сбивал тяжелым купальным полотенцем верхушки трав и папоротников.

— На колени, сэр. Как вы смеете, сэр.

Гэйнс спросил:

— Вы платите за наем башни?

— Двенадцать фунтов, — ответил Бак Маллиган.

— Военному министру, — добавил Стефен через плечо.

Они остановились. Гэйнс окинул взглядом башню и сказал:

— Должно быть зимой тут мрачно. Как вы их зовете — «Мартелло», что ли?

— Их построил Билли Питт, — сказал Бак Маллиган, — когда французы угрожали с моря. Но мы называем ее «Омфалос».

— Так что же вы думаете о Гамлете? — спросил Гэйнс Стефена.

— Нет, нет, — в ужасе закричал Бак Маллиган. — Сейчас я не выдержу Фому Аквината с его пятьюдесятью пятью доказательствами. Вот когда я вылакаю несколько кружек, тогда поговорим.

Обращаясь к Стефену, он сказал, аккуратно одергивая уголки своего светло-желтого жилета.

— А тебе сколько нужно для этого — три кружки, что ли?

— Это ждало так долго, — равнодушно сказал Стефен, — подождет и еще.

— Я сгораю от нетерпения, — любезно сказал Гэйнс. — Это какой-нибудь парадокс?

— Что вы! — сказал Бак Маллиган. — Мы уж выросли из Уайльда и парадоксов. Это очень просто. Он доказывает при помощи алгебры, что внук Гамлета приходится Шекспиру дедом и что он сам — дух собственного отца.

— Что — сказал Гэйнс, показывая пальцем на Стефена. — Он сам?

Бак Маллиган надел полотенце на шею, как орарь, и, разражаясь хохотом, нагнулся к Стефену и сказал ему на ухо:

— О, призрак Кинча-старшего! Иафет в поисках отца!

— Утром мы обычно чувствуем себ[illegible] усталыми, — сказал Стефен Гэйнсу, — [illegible] это долго рассказывать.

Бак Маллиган снова пошел вперед и поднял руки.

— Только священная кружка способ[illegible] на развязать язык Дедалуса, — сказа[illegible] он.

— Дело в том, — об'яснил Гэйнс Стефену, когда они последовали за ним, — что эта башня и эти утесы напомнил[illegible] мне чем-то Эльсинор. «Чье основанье омывает море», не правда ли?

Бак Маллиган обернулся на мгнове[illegible] ние к Стефену, но ничего не сказал. [illegible] это яркое безмолвное мгновение Стефен увидел себя со стороны, в деше[illegible] вом пыльном трауре между их светлыми костюмами.

— Это чудесная сказка, — сказа[illegible] Гэйнс, снова останавливаясь.

Глаза бледные, как море, освеженны[illegible] ветром, еще более бледные, уверенны[illegible] и осторожные. Властитель морей, о[illegible] смотрел на юг через бухту, в которо[illegible] не было ничего, кроме дымного плюмажа почтового парохода, смутно вырисовавшегося на ярком небе, и парусника, поворачивавшего возле Маглинс[illegible]

— Я читал как-то теологическое ис[illegible] толкование, — сказал он рассеянно. — Идея отца и сына. Сын, стремящийся [illegible] искуплению через отца.

Бак Маллиган сразу надел себе на лицо как маску широкую счастливу[illegible] улыбку. Он посмотрел на них, блаже[illegible] но открывая свой красивый рот, и за[illegible] мигал глазами, из которых теперь о[illegible] изгнал всякое выражение, кроме не[illegible] удержимого веселья. Он замотал ка[illegible] кукла головой, поля его панамы вздр[illegible] гивали, и он запел невозмутимо бла[illegible] женным дурашливым голосом:

Мой папа был голубь, а мама девица,
Что мальчик я ловкий, чему тут дивиться,
Но с плотником - Иоськой мы вечно ругались
Тогда я ушел и меня распяли.

Он погрозил поднятым пальцем:

А тот, кто не верит, что я божий отпрыск,
Со мной задарма налакаться не сможет
В тот день, когда воду я сделаю водкой,
И даже вода не пойдет ему в глотку.

Он быстро потряс в знак прощания палку Стефена, и, пробежав вперед к обрыву, замахал руками, словно плавниками или крыльями, как бы готовясь подняться в воздух, и запел:

Прощайте, пока... Расскажите подробно
И Тому, и Дику, как встал я из гроба.
Пора возноситься на небо. Прощайте,
Прощайте! Пишите и не забывайте!

Он вприпрыжку побежал вниз с сорокафутового обрыва, взмахивая руками, как крыльями, и проворно подскакивая; шапочка Меркурия трепетала от свежего ветра, доносившего к ним его короткие птичьи крики.

Сдержанно смеясь, Гэйнс шел рядом со Стефеном.

— Пожалуй, нам не следовало бы смеяться, — сказал он. — Он явно богохульствует. Я-то сам не верующий. Но у него получается так забавно, что право я не вижу в этом никакого вреда. Как это называется? Иосиф-плотник?

— Баллада о Веселом Иисусе, — ответил Стефен.

— Ах, — сказал Гэйнс, — так вы слышали ее раньше?

— Три раза в день после еды, — сухо сказал Стефен.

— Вы ведь не верующий, не правда ли? — спросил Гэйнс. — Я хочу сказать, не верующий в узком смысле слова. Сотворение из ничего, и чудеса, и личный бог.

— Это слово имеет, мне кажется, только один смысл, — сказал Стефен.

Гэйнс остановился, чтобы вынуть серебряный портсигар с поблескивающим зеленым камнем. Он открыл его, нажав большим пальцем, и предложил.

— Благодарю вас, — сказал Стефен, беря папиросу.

Гэйнс взял папиросу и захлопнул крышку. Он положил портсигар обратно в боковой карман, вынул из жилетного кармана никелированную зажигалку, открыл ее тоже, и, зажегши свою папироску, протянул Стефену горящий фитиль в горсти.

— Да, конечно, — сказал он, когда они пошли дальше. — Можно или верить, или не верить, не правда ли? Лично мне идея личного бога ничего не говорит. Надеюсь, вы на ней не настаиваете?

— В лице моем, — сказал Стефен с мрачным недовольством, — вы видите отвратительный пример свободомыслия.

Он шел впереди, ожидая, чтобы с ним заговорили, волоча по земле свою палку. Металлический наконечник следовал за ним по пятам, издавая визжащий звук. Мой двойник, взывающий ко мне: «Стииииви». Волнистая линия вдоль тропинки. Они пройдут по ней вечером, возвращаясь, когда будет темно. Он хочет взять ключ. Ключ — мой, я заплатил за наем. Но я ем его хлеб. Отдать ему и ключ. Все. Он будет просить. Я вижу это по глазам.

— В конце концов, — начал Гэйнс.

Стефен обернулся и увидел, что измерявший его холодный взгляд был не совсем недобрым.

— В конце концов, я полагаю, от вас самого зависит стать свободным. Мне кажется, вы сами себе господин.

— Я слуга двух господ, — сказал Стефен. — Англичанина и итальянца.

— Итальянца? — спросил Гэйнс.

Выжившая из ума королева, старая и ревнивая. На колени передо мной.

— Есть еще третий, — сказал Стефен, — у которого я на побегушках.

— Итальянец? — повторил Гэйнс. — Что вы этим хотите сказать?

— Британская империя, — ответил Стефен, покраснев, — и святая римско-католическая апостольская церковь.

Прежде чем заговорить, Гэйнс снял с нижней губы приставшие к ней волокна табака.

— Я вполне понимаю вас, — сказал он спокойно. — Нет ничего удивительного, что ирландец должен рассуждать именно так. Мы, англичане, понимаем, что относились к вам не совсем справедливо. В этом, вероятно, виновата история.

Гордые, могущественаные титулы оглашали память Стефена торжествующим звоном медных колоколов: et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam:[1] постепенное развитие ритуала и догмы, как его собственных заветных мыслей, алхимия звезд. Символика апостолов в заупокойной мессе по папе Маркелу, голоса певчих, слитые воедино в громком утверждении; и за их пением недремлющий ангел воин-

[1] И единую святую вселенскую и апостольскую церковь.

ствующей церкви обезоруживает ересиархов и угрожает им. Скопище ересей, спасающихся бегством, в митрах, с'ехавших набок: Фотий и толпа насмешников, одним из которых был Маллиган, и Арий, всю жизнь боровшийся против учения о единосущности Отца и Сына, и Валентин, отвергавший земную плоть Христа, и лукавый африканский ересиарх Сабеллий, утверждавший, что Сам Отец был собственным Сыном. Слова, которые Маллиган только что сказал с насмешкой чужеземцу. Праздная насмешка. Пустота ждет их всех, ткавших ветер: угроза, лишение оружия и поражение от небесного воинства церкви с Михаилом-архангелом во главе, всегда защищающего ее в минуты опасности копьями своими и щитами.

Слушайте, слушайте. Продолжительные аплодисменты. Zut! Nom de Dieu![1]

— Разумеется, я британец, — сказал голос Гэйнса, — и рассуждаю, как все британцы. И я не хочу, чтобы моя родина попала в лапы немецким евреям. Боюсь, что сейчас главная опасность именно в этом.

Двое стояли на краю обрыва, наблюдая: делец, лодочник.

— Он идет в Баллок.

Лодочник пренебрежительно кивнул головой в направлении северной части залива.

— Там глубина всего 30 футов, — сказал он. — Он всплывет, когда начнется прилив. Нынче девятый день.

Утопленник. Шхуна, бороздившая пустынный залив в ожидании, пока разбухшее тело всплывет на поверхность и повернется к солнцу своим вспухшим лицом, белым как соль. Вот он я.

Они спускались извилистой тропинкой к берегу. Бак Маллиган стоял на камне без сюртука, с развевавшимся по ветру галстуком. Молодой человек, ухватившись за выступ скалы возле него, как лягушка, шевелил ногами в глубокой студенистой воде.

— Твой брат не с тобой, Малаки?

— Он в Уэстмите. У Бэннонов.

— Все еще там? Я получил от Бэннона открытку. Пишет, что нашел там прелестное молодое создание. Он зовет ее фото-девушкой.

— Моментальный снимок? Короткая выдержка?

Бак Маллиган уселся расшнуровывать ботинки. Недалеко от скалы какой-то пожилой человек высунул отдувавшееся красное лицо. Он карабкался по камням, и вода поблескивала на его плешивой макушке и на окружавшей ее гирлянде седых волос, вода струилась по его груди и брюху, стекала потоком с черной отвисшей повязки на бедрах.

Бак Маллиган посторонился, пропуская его, и, взглянув на Гэйнса и Стефена, набожно перекрестил себе ногтем большого пальца лоб и грудную клетку.

— Сеймур вернулся в город, — сказал молодой человек, снова цепляясь за выступ. — Плюнул на медицину и решил идти в армию.

— А ну тебя к чорту, — сказал Бак Маллиган.

— На будущей неделе отправляется в казарму. Знаешь ту рыжую, Лили Карляйль?

— Знаю.

— Вчера весь вечер она любезничала с ним на молу. У ее отца денег куры не клюют.

— А ей что — не терпится?

— Насчет этого спроси лучше Сеймура.

— Сеймур — жалкий офицеришка, — сказал Бак Маллиган.

Он снял брюки, покачивая головой и, встав на ноги, сказал пошловатым тоном:

— Рыжие женщины делают это как козы.

Схватившись за бок под раздувавшейся от ветра рубашкой, он воскликнул встревоженно:

— Мое двенадцатое ребро исчезло. Я сверхчеловек. Мы с беззубым Кинчем — сверхчеловеки.

Он высвободился из рубашки и швырнул ее позади себя, на груду одежды.

— Ты полезешь в воду здесь, Маллиган?

— Да. Подвинься к стенке.

Молодой человек оттолкнулся от берега и двумя широкими, четкими бросками выплыл на середину бухты. Гэйнс сел на камень и закурил.

— А вы разве не будете? — спросил Бак Маллиган.

— Позже, — сказал Гэйнс. — Не сразу после завтрака.

Стефен повернулся.

— Я ухожу, Маллиган, — сказал он.

— Оставь нам ключ, Кинч, — сказал Бак Маллиган, — а то моя рубашка улетит.

Стефен протянул ему ключ. Бак Маллиган положил его поверх белья.

— И два пенса, — сказал он, — на кружку пива. Брось сюда.

Стефен бросил две медных монетки на мягкую груду. Одеваются, раздеваются. Бак Маллиган, выпрямившись, сложил перед собой руки и сказал торжественно:

— Кто украдет у бедного, воздаст господу. Так говорил Заратустра.

Его пухлое тело плюхнулось в воду.

— Мы еще увидимся с вами, — сказал Гэйнс, повертываясь к уходящему Стефену и с улыбкой смотря на неистового ирландца.

Бык ранит рогами, конь — копытом, британец — улыбкой.

— В «Корабле», — закричал Бак Маллиган, — в пол-первого.

— Хорошо, — сказал Стефен.

Он шел вверх по извилистой тропинке.

Liliata rutiliantium
Turma circumdet.
Iubilantium te virginum.

Серый нимб священника в нише, где он скромно облачался. Я не буду здесь ночевать сегодня. Домой я тоже не могу идти.

Голос, мелодичный и приглушенный, позвал его с моря. На повороте он помахал рукой. Голос позвал снова. Гладкая темная голова, тюленья, вдали на море, круглая.

Узурпатор.

---

1 Французское ругательство.